

Тимур Кибиров
СТИХИ О ЛЮБВИ

Серия «Поэтическая библиотека»

В сборник избранных стихотворений Тимура Кибирова вошли как ранние произведения (из книг «Стихи о любви», «Нотации», «Сантименты»), так и новые книги стихов («Кара-барас», «На полях “A Shropshire lad”», «Три поэмы»).

ТИМУР КИБИРОВ

СТИХИ

О ЛЮБИ



читателям тимура кибирова

К публике Тимур Кибиров пришел сложившимся поэтом. Случилось это давно — двадцать лет назад, в громокипящем (точнее, пожалуй, — резвоскачущем) 1988 году.

На вопрос о том, ко гда был обретен Кибировым неповторимый голос, ответить затруднительно. Голос этот вполне отчетливо слышен в большинстве известных нам сочинений, писанных незадолго до прорыва в печать, и можно лишь посетовать, что за пределами предлагаемого итогового сборника остались поэмы «Лесная школа», «Буран» (обе — 1986), «Сквозь прощальные слезы» (1987), «Три послания» («Л. С. Рубинштейну», «Любовь, комсомол и весна. Д. А. Пригову», «Художнику Семену Файбисовичу»; 19 87—1988) и ряд стихотворений той поры («После словие к книге „Общие места“, „Ветер перемен“, „Ничего не пила со вчерашнего дня...“, „Шаганэ ты моя, Шаганэ...“, „Какая скверная земля...“, „Рождественская песнь квартиранта“, „В новом, мамой подаренном зимнем пальто...“). Во второй — долго ждавшей своего часа, а потому припоздавшей — книге Кибирова „Календарь“^[1] (Владикавказ, 19 91) самые ранние опусы относятся к середине семидесятых (надикт ованные армейскими буднями стихи из цикла «Слово о полку Н-ском» сопровождаены двойной датировкой — 1975–1979). Существенно, однако, что многие мотивы «Календаря» станут смысловыми ядрами поэтической системы зрелого Кибирова, а иные стихотворения обретут новую жизнь в его позднейших книгах. Так «Эпитафии бабушкиному двору» (1984) войдут в «Сантименты» (1989). В книге «Послания Ленке и другие сочинения» найдется место стихам из цикла «Каникулы» (1984; «Майский жук прилетел...», «Карбида вожделенного кусочки...», «На коробке конфетной — Людмила...», «Скоро все это предано будет...») и «Идиллии. Из Андрея Шенье». Включенное в ту же книгу «Послание Сереже Гандлевскому. О некоторых аспектах нынешней социокультурной ситуации» строится на фундаменте «Четырехстопных ямбов» (1983). Исступленно мрачное, весьма изысканно построенное, но прежде не публиковавшееся стихотворение 1982 года «Для того, чтоб узнать...» Кибиров приводит в «Улице Островитянова» (1999), снабдив иронично-горьким постскриптумом: „Вот такие вот пошлости“/ я писал лет семнадцать назад». Здесь же под названием «Подражание псалму» помещено известное по

«Календарю» стихотворение «Нет мочи подражать Творцу...» (1982) с заменой третьей строфы (первоначальный вариант — «Эй, кто смеется мне в лицо?/ Ты кто? — Никто, Ничто. / И мне ли быть всему творцом/ Среди пустоты густой?», вариант окончательный читатель найдет в этой книге). Появившаяся в год тридцатилетия (по Пушкину — «рокового термина») формула «юбилей лирического героя» пятнадцать лет спустя стала заглавьем очередной книги (2000). Особенно примечательна судьба «Гравюры Дюрера» (1980), воспроизведенной (с минимальной правкой) в книге «Шалтай-Болтай» (2002) и, вероятно, стимулировавшей появление там всего цикла «Пинакотека». Рискну предположить, что когда (если) будущему историку словесности представится возможность прочесть отроческие и юношеские вирши Кибирова, то и там обнаружатся знакомые ноты — то, что поэт по сей день (буквально) не перестает измываться над своими дебютными «декадентскими» воспарениями, кажется, не опровергает эту гипотезу, но ее усиливает. Экскурсы в предысторию (причем не только в ее «дописьменный» младенческо-детско-отроческий период, но и во времена запойного юношеского стихотворства) Кибиров совершает постоянно, вплоть до вошедшей в последнюю книгу лирико-дидактической поэмы «Покойные старухи». Автобиографический миф о рождении поэта — неотъемлемая часть творимого им мира.

Двадцать лет — срок изрядный при любых условиях. Если же в этот временной промежуток укладывается несколько «эпох» (наш случай) — тем паче. Первые пришедшие к публике стихи Кибирова привораживали многих читателей исторической точностью, умением поймать и запечатлеть дух бешено ускорившегося в ту пору времени. Лирический историзм поэт безусловно сохранил, а потому череда его сочинений вполне может читаться как своего рода «славная хроника», служить надежным, хотя и требующим особой оптики, источником по истории российской культуры (и/или общественной жизни) 1980-х — 2000-х годов. Фиксируя постоянные изменения социокультурного пейзажа, Кибиров с той же точностью и смелостью открывал миру приключения собственного духа, выстраивал детализированное повествование о своей блуждающей судьбе. Мена метрических, стилевых и жанровых доминант была не только наглядной, но и демонстративной. Совершая очередной поворот, Кибиров почти всегда прямо предлагал читателям настроиться на новую волну и «облегчал жизнь»

интерпретаторам, подкладывая удобную схему «периодизации творческого процесса».

Двигаясь по предложенному Кибировым маршруту, следует, однако, помнить, что сколь угодно изошренные, неожиданные и дразнящие вариации обретают подлинный смысл (а потому способны привлечь внимание, стать расслышанными и понятыми) лишь в том случае, когда мы ощущаем властное присутствие рождающей их единой темы. Иначе говоря — судьбы поэта. Едва ли русский читатель способен представить себе более стремительную эволюцию и более широкий поэтический мир, чем пушкинские, но именно Пушкин однажды (и отнюдь не случайно) вымолвил «Каков я прежде был, таков и ныне я...» Истинный поэт остается собой при любых обстоятельствах. Вопреки иронично обыгранной (по сути — непреклонно оспоренной) Кибировым премудрости (равно любезной исполнителю чиновнику и высоколобому поставщику интеллектуальных бестселлеров) поэт в конечном счете не зависит от контекста. Как не должен зависеть от него всякий человек, о чем и напоминает ему поэтическое слово. Чем прихотливее узоры, тем яснее общий рисунок, чем ощутимей организующий стиховую ткань диалог, тем отчетливее единственный (и потому — узнаваемый) голос поэта.

Суть поэзии Тимура Кибирова в том, что он всегда распознавал в окружающей действительности «вечные образцы» и умел сделать их присутствие явным и неоспоримым. Гражданские смуты и домашний уют, трепетная любовь и яростная ненависть, шальной загул и тягостная похмельная тоска, дождь, гром, снег, листопад и дольней лозы прозябанье, модные шибко умственные доктрины и дебиловатая казарма, «общие места» и безымянная далекая — одна из мириад, но единственная — звезда, старая добрая Англия и хвастливо вольтерьянствующая Франция, солнечное детство и простуженная юность, насущные денежные проблемы и взыскание абсолюта, природа, история, Россия, мир Божий говорят с Кибировым (а через него — с нами) только на одном языке — гибком и привольном, гневном и нежном, бранном и сюсюкающем, певучем и витийственном, темном и светлом, блаженно бессмысленном и предельно точном языке великой русской поэзии. Всегда новым и всегда помнящем о Ломоносове, Державине, Баратынском, Тютчеве, Лермонтове, Фете, Некрасове, Козьме Пруткове, Блоке, Ходасевиче,

Мандельштаме, Маяковском, Пастернаке и Корнее Ивановиче Чуковском. Не говоря уж о Пушкине.

Много чего хлебнув, ощутив мерзкий вкус страха и греха, не поналышке зная о всеобщем нестроении и собственной слабости, Кибиров упрямо стоит на своем — неустанно благодарит Создателя и пишет стихи, то есть привносит в уже неменяемый, но не до конца безнадежный мир спасительную (только расслышь!) гармонию, напоминает нам (только пойми!) о нашей свободе. Как в пору отчаянного прощания с «советчиной», когда «некрасовский скорбный анапест», незаметно превращаясь в блоковский и набоковский, забивал горячими слезами носоглотку. Как в блаженные, но тайно тревожные, чреватые будущими срывами и потрясениями годы «Парафразиса». Как на рубеже тысячелетий, когда выстрадавший и казавшийся спасительным уют дома на улице Островитянова сменился судорожной болью «нотаций», а измотанный счастливой игрой Амура (или кого-то более сильного) лирический герой справлял одинокий «полукруглый» юбилей. Как в ликующе наглom Солнечном городе, где стихоплету (такому же полоумному, как все великие и малые предшественники, как все, кому когда-нибудь выпадет участь бряцать на лире и дудеть в дудку) отведена роль заезжего (чужого, ненужного, лишнего, подозрительного) Незнайки. Так и сейчас. Победно восклицая «С нами Бог! Кара-барас!», заполняя кириллицей (в лучшем порядке) поля «A Shropshire Lad», возводя волшебный дворец трех поэм (с многочисленными непредсказуемыми пристройками), Кибиров остается Кибировым. И, подобно Степану из хулиганского стишка, пленительной глоссой на которую вершится новейшая книга «Три поэмы», идет вперед, «невзирая на морозы, / на угрозы и психозы».

А потому нам — его счастливым читателям — не страшен серый волк!

Андрей Немзер

СТИХИ О ЛЮБВИ
1988

Е. Б.

Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если их хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.

Н. С. Лесков

I

ЭКЛОГА

Мой друг, мой нежный друг, в пунцовом георгине
могучий шмель гудит, зарывшись с головой.
Но крупный дождь грибной так легок на помине,
так сладок для ботвы, для кожи золотой.

Уж огурцы в цвету, мой нежный друг. Взгляни же
и, ангел мой, пойми — нам некуда идти.
Прошедший дождь проник сквозь шиферную крышу
и томик намочил Эжена де Кюсти.

Чей перевод, скажи? Гандлевского, наверно.
Анакреонтов лад, горацанский строй.
И огурцы в цвету, и звон цикады мерный,
кузнечика точней и лиры золотой.

И солнце сквозь листву, и шмель неторопливый,
и фавна тихий смех, и сонных кур возня.
Сюда, мой друг, сюда, мой ангел нерадивый,
приляг, мой нежный друг, и не тревожь меня.

О, наледи на нос листок светло-зеленый,
о, закрывай глаза и слушай в полусне
то пение цикад, то звон цевницы сонной,
то бормотанье волн, то пенье в стороне

аркадских пастухов — из томика, из плавной
медовой глубины, летейской тишины,
и тихий смех в кустах полуденного фавна,
и лепет огурцов, и шепот бузины.

Сюда, сюда, мой друг! Ты знаешь край, где никнет
клубника в чернозем на радость муравьям,
где сохнет на столе подмоченная книга
Эжена де Кюсти, и за забором там

соседа-фавна смех, и рожки, и гармошка,
и Хлои поясок, дриады локоток,
и некуда идти. И за грядой картошки
заросший ручеек, расшатанный мосток.

II

БАЛЛАДА О ДЕВЕ БЕЛОГО ПЛЕСА

Дембеля возвращались в родную страну,
проиграв за кордоном войну.

Пили водку в купе, лишь ефрейтор один
отдавал предпочтенье вину.

Лишь ефрейтор один был застенчив и тих,
и носил он кликуху Жених,
потому что невеста его заждалась
где-то там, на просторах родных.

Но в хмельном кураже порешили они
растянуть путешествия дни
и по Волге-реке прокатить налегке.
Ах, ефрейтор, пусть едут одни!

Ах, ефрейтор, пускай они едут себе.
Ни к чему эти шуточки тебе.
Ты от пули ушел и от мины ушел.
Выходи, дурачок, из купе.

Ведь соседская Оля, невеста твоя,
месяц ходит сама не своя,
мать-старушка не спит, на дорогу глядит...
Мчится поезд в родные края!

Но с улыбкой дурною и песней блатной
в развеселой компании хмельной
проезжает ефрейтор родные места,
продолжает в каюте запой.

Вниз по Волге плывут, очумев от вина,
даже с берега песня слышна.
Пассажиры боятся им слово сказать.
Так и хлещут с утра до темна.

Ах, ефрейтор, ефрейтор, куда ж ты попал?
Мыться-бриться уже перестал.
На глазах пассажиров, за борт наклонясь,
ты рязанскою водкой блевал...

На четвертые сутки, к полудню проспясь,
головую похмельной винясь,
он на палубу вышел в сиянье и зной.
Блики красные плыли у глаз.

И у борта застыв, он в себя приходил,

за водою блестящей следил.
И не сразу заметил он остров вдали.
Лишь тогда, когда ближе подплыл.

И тогда-то Ее он увидел, бедняк,
и не сразу он понял, дурак,
а сперва улыбнулся похабной губой,
а потом уже вскрикнул и — Боже ты мой! —
вдоль по борту пошел кое-как

за виденьем, представшим ему одному,
почему-то ему одному,
за слепящим виденьем, за тихим лучом,
как лунатик, пришел на корму.

Дева белого плеса и тихой воды,
золотой красоты-наготы
на белейшем коне в тишине, в полусне...
Все, ефрейтор злосчастный. Кранты.

Все, ефрейтор, пропал, никуда не уйдешь.
Лучше б было нарваться на нож,
на душманскую пулю, на мину в пути.
Все, ефрейтор. Теперь не уйдешь...

И когда растворилось виденье вдали,
кореша-дембеля подошли,
чтоб в каюту позвать, чтоб по новой начать.
Но узнать Жениха не смогли.

Бледен лик его был, и блуждал его взор,
и молот несусветный он вздор.
Деву белого плеса он клялся найти,
корешей он не видел в упор.

И на первой же пристани бедный Жених
вышел на берег, грустен и тих,
и спрашивать стал он про Деву свою,
русокосую голую Деву свою,
Деву плеса в лучах золотых.

Ничего не добившись, он лодку нанял,
взад-вперед по реке он гонял.
И однажды он вроде бы видел ее.
Но вблизи он ее не признал.

И вернулся он в город задрипанный тот,
и ругался он — мать ее в рот,
и билет он купил, и уехать решил.

Но ушел без него пароход.

После в чайной он пил, и в шашлычной он пил,
в станционном буфете бузил,
и с ментами подрался, и там, в КПЗ,
все о Деве своей говорил.

Говорил он о Деве смертельной своей,
голосил он и плакал о ней,
о янтарных глазах, золотых волосах...
И блатные ему отвечали в сердцах:
«Мало ль, паря, на свете блядей?»

Но белугой ревел он, и волком он выл,
и об стенку башкой колотил,
и поэтому вскорости был у врачей,
и в психушку потом угодил.

И когда для порядка вкололи ему,
чтоб не очень буянил, сульфю,
и скрутила его многорукая боль,
и поплыл он в багровую тьму,

среди тьмы этой гиблой, в тумане густом
он увидел вдали за бортом,
он за бортом вдали различил-угадал
этот остров в сиянье златом.

И к нему подплывая в счастливых слезах
на безумных, горящих глазах
и с улыбкой блаженства и светлой любви
на бескровных от боли губах,

озарясь все больше, почти ослеплен
блеском теплых и ласковых волн
и сиянием белых прибрежных песков,
свою Деву разглядывал он.

И она улыбалась ему и звала,
за собою манила, вела
навсегда, навсегда, никуда, без следа,
никогда, мой любимый, уже никогда...
И вода под копытом светла.

Ну, садись же, садись, дурачок, на коня,
обними же, не бойся меня,
мы поедем с тобой навсегда без следа
никуда, дурачок, как песок, как вода,
в сонном мареве вечного дня...

Дева белого плеса, слепящих песков,
пощади нас, прости дураков,
золотая краса, золотые глаза,
белый конь, а над ним и под ним бирюза.
Лишь следы на песке от подков.

III

РОМАНСЫ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО РАЙОНА

1

О доблести, о подвигах, о славе
КПСС на горестной земле,
о Лигачеве иль об Окуджаве,
о тополе, лепечущем во мгле.

О тополе в окне моем, о теле,
тепле твоём, о тополе в окне,
о том, что мы едва не с колыбели,
и в гроб сходя, и непонятно мне.

О чем еще? О бурных днях Афгана,
о Шиллере, о Фильке, о любви,
о тополе, о шутках Петросяна,
о люберах, о Спасе на крови.

О тополе, о тополе, о боли,
о валидоле, о юдоли слез,
о перебоях с сахаром, о соли
земной, о полной гибели всерьез.

О чем еще? О Левке Рубинштейне,
о Нэнси Рейган, о чужих морях,
о юности, о выпитом портвейне,
да, о портвейне! О пивных ларьках,

исчезнувших, как исчезает память,
как все, клубясь, идет в небытие.

О тополе. О БАМе. О Программе
КПСС. О тополе в окне.

О тополе, о тополе, о синем
вечернем тополе в оставленном окне,
в забытой комнате, в распахнутых гардинах,
о времени. И непонятно мне.

2

Ух, какая зима! Как на Гитлера с Наполеоном
навалилась она на невинного, в общем, меня.
Индевеют усы. Не спасают кашне и кальсоны.
Только ты, только ты! Поцелуй твой так полон огня!

Поцелуй-обними! Только долгим и тщательным треньем
мы добудем тепло. Еще раз поцелуй горячей!

Все теплей и теплее. Колготки, носки и колени.
Жар гриппозный и слезы. Мимозы на кухне твоей.

Чаю мне испитого! Не надо заваривать — лишь бы
кипяток да варенье. И лишь бы сидеть за твоей
чистой-чистой клеенкой. И слышать, как где-то в Париже
говорит комментатор о нуждах французских детей...

Ух, какая зима! Просто Гитлер какой-то! В такую
ночку темную ехать и ехать в Коньково к тебе.
На морозном стекле я твой вензель чертить не рискую —
пассажиры меня не поймут, дорогая Е. Б.

IV

БАЛЛАДА О СОЛНЕЧНОМ ЛИВНЕ

В годы застоя, в годы застоя
я целовался с Ахвердовой Зоей.

Мы целовались под одеялом.
Зоя ботанику преподавала

там, за Можайском, в совхозе «Обильном».
Я приезжал на автобусе пыльном

или в попутке случайной. Садилось
солнце за ельник. Окошко светилось.

Комната в здании школы с отдельным
входом, и трубы совхозной котельной
в синем окне. И на стенке чеканка
с витязем в шкуре тигровой. Смуглянкой

Зоя была, и когда целовала,
что-то всегда про себя бормотала.

Сын ее в синей матроске на фото
мне улыбался в обнимку с уродом

плюшевым. Звали сыночка Борисом.
Муж ее, Русик, был в армию призван

маршалом Гречко... Мое ты сердечко!
Как ты стояла на низком крылечке,

в дали вечерние жадно глядела
в сторону клуба. Лишь на две недели

я задержался. Ах, Зоинька, Зоя,
где они, Господи, годы застоя?

Где ты? Ночную порою собаки
лай затевали. Ругались со вкусом

механизаторы вечером теплым,
глядя в твои освещенные стекла.

Мы целовались. И ты засыпала
в норке под ватным своим одеялом.

Мы целовались. Об этом проведав,
бил меня, Господи, Русик Ахвердов!

Бил в умывалке и бил в коридоре
с чистой слезою в пылающем взоре,

бил меня в тихой весенней общаге.
В окнах открытых небесная влага
шумно в листву упала и пела!
Солнце и ливень, и все пролетело!

Мы оглянуться еще не успели.
Влага небесная пела и пела!

Солнце, и ливень, и мокрые кроны,
клёны да липы в окне растворенном!

Юность, ах, боже мой, что же ты, Зоя?
Годы застоя, ах, годы застоя,

влага небесная, дембельский май.
Русик, прости меня, Русик, прощай.

РОМАНСЫ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО РАЙОНА

3

Под пение сестер Лисициан
на волнах «Маяка» мы закрываем
дверь в комнату твою и приступаем
под пение сестер Лисициан.

Соседи за стеною, а диван
скрипит как черт, скрипит как угорелый.
Мы тыкались друг в дружку неумело
под пение сестер Лисициан.

9-й «А». И я от счастья пьян,
хоть ничего у нас не получилось,
а ты боялась так и торопилась
под пение сестер Лисициан.

Когда я ухожу, сосед-болван
выходит в коридор и наблюдает.
Рука никак в рукав не попадает
под пение сестер Лисициан.

4

Лифт проехал за стенкою где-то.
В синих сумерках белая кожа.
Размножаться — плохая примета.
Я в тебя никогда... Ну так что же?

Ничего же практически нету —
ни любви, ни смысла, ни страха.
Только отсвет на синем паркете
букв неоновых универмага.

Вот и стали мы на год взрослее.
Мне за тридцать. Тебе и подавно.
В синих сумерках кожа белеет.
Не зажечь нам торшер неисправный.

В синих сумерках — белая кожа
в тех местах, что от солнышка скрыты,
и едва различим и тревожен
шрам от детского аппендицита.

И конечно же главное — сердцем
не стареть... Но печальные груди,
но усталая шея... Ни веры,
ни любви, наверно, не будет.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru